



АЛЕКСАНДР ГЕНИС

КОЖА
ВРЕМЕНИ
КНИГА ПЕРЕМЕН



РЕДАКЦИЯ
ЕЛЕНА ШУБИНОЙ

Уроки чтения (АСТ)

Александр Генис

Кожа времени. Книга перемен

«Издательство АСТ»

2020

УДК 821.161.1.09
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Генис А. А.

Кожа времени. Книга перемен / А. А. Генис — «Издательство АСТ», 2020 — (Уроки чтения (АСТ))

ISBN 978-5-17-127034-6

Прощаясь с прошлым и заглядывая в будущее, новая книга эссеистики Александра Гениса «Кожа времени» прежде всего фиксирует перемены. Мелкие и грандиозные, они все судьбоносны, ибо делают сегодняшний день разительно не похожим на вчерашний. «Труднее всего — узнать, услышать, разглядеть, ощупать, заметить, поймать и приколоть к бумаге настоящее. У всех на виду и как раз поэтому не всегда заметное, оно превращает нас в современников и оставляет следы на коже. Как татуировка». (Александр Генис) В формате PDF А4 сохранен издательский макет.

УДК 821.161.1.09
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-127034-6

© Генис А. А., 2020
© Издательство АСТ, 2020

Содержание

От автора	5
I. Некрологи	6
Памяти телеграммы	6
Памяти пунктуальности	8
Памяти Арктики	10
Памяти космоса	12
Памяти ночи	14
Памяти славы	16
Памяти почерка	18
II. Кожа времени	20
Стоя на углу	20
Метафизика телефона	21
Виртуальный секс	24
Владеть или пользоваться	27
Товар лицом	30
Конец ознакомительного фрагмента.	32

Александр Генис

Кожа времени. Книга перемен

От автора

Первую книгу я написал в шесть лет. В ней было четыре страницы печатными буквами. Действие протекало в амазонской сельве, о которой я знал примерно столько же, сколько об остальном мире. Последнюю книгу я пишу уже лет двадцать. Во всяком случае, мне так кажется, когда я ее сочиняю, ничего не оставляя на потом.

В прошлый раз, расставшись с написанной книгой, я почувствовал облегчение – будто освободился от домашнего задания и сбросил это сладкое, но всё же бремя. Без него я распустился и принялся глазеть по сторонам без особой корысти и умысла. Теперь мне больше не надо было укладывать впечатления в книгу, но выяснилось, что она выросла сама, сложившись из большой груды эссе.

Все они написаны по самым разным поводам. Главное, что у каждого этот повод был. Заметка в газете, беглая мысль, модный слух, подслушанная реплика, важная цифра, – всё, что происходило вокруг меня, могло стать триггером для размышлений, воспоминаний, прогнозов и свободных ассоциаций.

Розанов говорил, что лучшее написал на полях чужих книг. Ими мне служила действительность. Но чтобы чужой день стал своим, его надо пропустить сквозь себя, приватизировать и освоить. Став эксклюзивной интеллектуальной собственностью, будни складываются в сугубо персональную хронику, принадлежащую именно и только автору. Это как стихи, которые пишутся по конкретному и реальному, хотя далеко не всегда известному читателю поводу. Соблазнившись этой аналогией, я тщательно отобрал и очистил от слишком актуальной шелухи почти сотню текстов.

Для такого собрания подошло бы название из более простодушных времен – “На разные темы”. Но всякая книга, если она не телефонная, выстраивает свой сюжет – хочет того автор или нет. Так и случилось. Эссе без моей на то воли кучкуются, как у тех же поэтов, в циклы. Объединенные общей темой, они выстраивают собственный сюжет, отвечающий на заданный вопрос – или обостряющий его.

Оглядев получившуюся картину сегодняшнего дня, я расширил хронологические рамки. Чтобы сперва проститься с прошлым, книга открывается “некрологами” на вещи и понятия, вышедшие из употребления. С настоящим разбирается собственно “кожа времени”, и завершает всё лирическая трактовка будущего, но не вообще, а автора, который подводит себе итоги в личной версии “заповедей”.

Вот, собственно, и всё, что я могу сказать читателям в свое оправдание: прошу никого, кроме меня, не винить. И прежде всего, публикаторов и издателей. Это “Новая газета”, где по доброму и с вниманием встречали почти каждый из этих текстов, и “Редакция Елены Шубиной”, которая уже много лет красиво и изобретательно издает мои книги. Огромное спасибо, друзья!

Александр Генис

Нью-Йорк, карантин, апрель 2020

I. Некрологи

Памяти телеграммы

Первым найдя практическое применение электричеству, телеграф стал родным отцом деловитому XIX столетию. Он регулировал его железнодорожное расписание, биржевые ставки и передвижение войск. Американцы даже Аляску купили у России, чтобы через Берингов пролив установить телеграфное сообщение с Азией.

К тому же только телеграф открыл истинную цену слов и, считая, как Чехов, краткость сестрой таланта, научился зарабатывать на речи, которая до него ничего не стоила. Для экономии он придумал универсальный, как нотная грамота, язык – эсперанто нашей цивилизации. Не чуждый суховатой кипплинговской поэзии, телеграфный ямб тире и точек помог воспеть (а не только создать) тяжелую индустрию и мировые империи. Победы прадедов, как водится, обернулись проклятием правнуков, но чаще телеграфу ставят в упрек не его грех, а наш рок.

Телеграммы умрут неоплаканными потому, что мы всегда их боялись, – уж слишком часто они сообщали о смерти. После “похоронок” Первой мировой “Вестерн Юнион”, пытаясь исправить смертоносную репутацию, придумала “поющие телеграммы”, но никакое сопрано не смогло заглушить барабаны судьбы. Собственно, Сэмюэл Морзе потому и занялся изобретением мгновенной связи, что новость о кончине его 25-летней жены две недели шла к еще ничего не подозревавшему вдовцу.

С тех пор телеграмма верно до навязчивости служила нам вестником, или, что то же самое, но по-гречески, – ангелом. Не зря их изображают с крыльями. Беда в том, что даже тогда, когда ангелы (и телеграммы) приносят благую весть, они вносят в жизнь драматический переполох (вспомним историю девы Марии).

Страшнее, когда телеграмма служит ангелом смерти. В этой роли она не только бессердечна, но и бессмысленна. Помочь нельзя не только мертвым, но и живым. Доверяя телеграфу беду, мы напрасно торопимся разделить скорбь, ибо арифметика чувств устроена таким образом, что от деления умножается только радость.

И всё же телеграф упрямо предпочитает плохие новости хорошим. Поэтому, послав за всю жизнь лишь одну телеграмму, я горжусь тем, что ее причиной оказалась свадьба, а не похороны. Хотя это еще как сказать. Дело в том, что замуж выходила девица, променявшая мою первую любовь на свою историческую родину. Учитывая национальные обстоятельства и студенческую бедность, я ограничился одним словом, по цене и значению равному бутылке “Советского” шампанского: “МАЗАЛЬТОВ”. На рижском почтамте телеграмму приняли за зашифрованную версию “Протокола сионских мудрецов” и без возражений отправили по назначению, ибо от Израиля ничего другого не ждали.

Впрочем, любой телеграмме свойственна загадочность. Надеюсь, что пунктуация поможет избежать ее (КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ), телеграф завел обычай изображать знаки буквами. Точка, например, на всех языках передается словом “СТОП”. Но это только усиливает природную многозначительность, свойственную телеграфу. Ее не знающая строчных букв и лишних слов клинопись напоминает рубленый стиль триумфальных арок и могильных плит.

Однако та же лапидарность, что создает державную серьезность, порождает и юмор: короткое – уже смешно. Строгая речь, как карандаш со сломанным грифелем, лаконизм сумел и историю свести к анекдоту. Характерно, что от спартанцев остались одни остроты, похожие на телеграммы: “НА ЩИТЕ ИЛИ СО ЩИТОМ”.

Мне не жалко телеграмму, ибо ее дело перешло достойному преемнику. Хотя электронная почта богаче и дешевле телеграфа, и ей идет его сдержанность, подбивающая и электронное письмо ограничить необходимой информацией и нелишней шуткой. Этот урок стиля, пожалуй, – главное наследство телеграмм.

Лучшую из них обнаружили в архиве Беккета. В свой день рождения писатель получил поздравление от некоего Жоржа Годо: “ПРОСТИТЕ ЧТО ЗАСТАВИЛ ЖДАТЬ”.

Памяти пунктуальности

Мы появились на свет в одном рязанском роддоме, но он рано метил в гении и вскоре стал им. Нобелевскую Славик не получил потому, как он мне объяснял, что занимался областью физики, не имеющей прикладного значения и какого-либо смысла. Это была чистая поэзия науки, возможно – прекрасная, но точно – ненужная. Не удивительно, что Слава напоминал рассеянного академика из сталинской фантастики, чудом перебравшегося в Калифорнию. За рулем он вел себя шахидом: в городе игнорировал светофоры, на шоссе предпочитал обочину.

На прощание Слава обещал меня навестить.

– Когда?

– Когда получится! – вскипел он.

– А заранее, – заныл я, – узнать нельзя?

– Вот еще! – отрезал Слава и ушел не оборачиваясь.

Я и сам был таким – мятежным, романтическим, неточным и расплывчатым. В школе, скажем, меня мучили поля. Их девственность полагалось стеречь в каждой тетради, но все мои строчки норовили заползти в запретную зону. Не зная, куда заведет вдохновение, я не мог остановиться до тех пор, пока не получал двойку. Мои тетради бродили по школе – учителя пугали ими друг друга. Лишь к старости я расплатился за ошибки молодости – тем, что перестал их прощать другим.

Как бессонница, пунктуальность – тяжелое бремя; и для тех, кто ею страдает, и для тех, кто слушает, как ею хвастаются. Порок параноика, она пытается обуздать хаос, обещая предусмотреть всё на свете. На *этом* свете, конечно. Страшась потусторонних неожиданностей, я стараюсь их обойти – заблаговременно.

Другие считают, что в этом уже нет нужды. Это раньше время было глыбой. Тяжелое и мерное, оно давило всех поровну. Теперь оно раскололось на мириады темпоральных капсул, позволяя каждому жить, *когда* хочется.

Приватизация времени обнаружила его истинную суть: выяснилось, что оно у всех разное. Персональное ощущение длительности разнится, как отпечатки пальцев.

Настоящее – условность. Обгоняя сегодняшний день ради завтрашнего, я живу взаймы у будущего, прибавляя выходные к отпуску и отпуск к пенсии. Умом я понимаю смехотворные претензии пунктуальности на вечность, нашей частью которой является время, но все равно боюсь опоздать не меньше кукушки из допотопных ходиков. В оправдание я, как все, цитирую последнего (и самого бездарного) из всех Людовиков, назвавшего точность “вежливостью королей”. Возможно; но тем, кто редко бывает при дворе, она уже не нужна.

Нелюбимое дитя проклятой индустриальной эры, пунктуальность синхронизировала трудовые усилия. Она поднимала по гудку целые города и ставила их к станку, как к стенке. Рабская добродетель, пунктуальность навязывала себя тем, кто не мог ее избежать, – ведь от хорошей жизни никто никуда не торопится. Научившись ценить нематериальное, ручное и штучное, наш век решительно остановил конвейер, когда обнаружил, что талант стоит больше времени. С тех пор лучшие приходят на работу не только когда вздумается, но и если захочется.

Вслед за трудом пунктуальность покинула и наш досуг. Приспосабливаясь к жидкому расписанию новой жизни, телевизор, скажем, рассказывает новости не по вечерам, а когда включили. И кино теперь можно смотреть, когда захочет зритель, а не кинотеатр. Но сильнее всего пунктуальность пострадала от мобильного телефона. Благодаря ему мы идем по жизни, помечая дорогу звонками, как пес – столбы. Сотовая связь просто упразднила древнюю концепцию свидания. Невзыскательный этикет беззаботного поколения утверждает, что нельзя опоздать, если можно позвонить.

Однако, теряя практический смысл, пунктуальность приобретает эстетическое измерение. Учетливое обращение со временем красиво, как всякое бесполезное и потому вымирающее искусство, вроде целомудрия и умения повязывать галстук. И я благодарен пунктуальности за то, что она размечает мой путь к развязке, поверяя маршрут не часовой, а минутной стрелкой.

Памяти Арктики

Всем временам года я предпочитаю холодное, всякому направлению – северное, любым осадкам – снег, ибо он проявляет жизнь, обнаруживая ее следы.

Однажды я оказался в горах вместе с профессиональным следопытом. За деньги он работал в ФБР, для души – ходил по лесу за зверьми. Пока мы карабкались на снегоступах к вершине, он лаконично исправлял мои ошибки.

– Кот?

– Енот.

– Лошадь?

– Олень.

– Собака?

– Койот.

– Почему?!

– Ну как ты не видишь, – вскипел он наконец, – дикий зверь идет целеустремленно, не разбрасываясь, и прыгает, как балерина, точно зная, куда приземлится.

К вечеру, когда снег познакомил нас со всеми горными жителями, кроме троллей, я окончательно околел, но на это мне никогда не приходило в голову жаловаться. Холод, по-моему, сам себя всегда оправдывает – этически, эстетически, метафизически. Он пробирает до слёз, как музыка, и действует, как лунный свет: меняет реальность, ни до чего не дотрагиваясь.

– Зима, – говорил Бродский, – честное время года. Летом, надо понимать, жизнь и дурак полюбит. Но я фотографии и природу предпочитаю черно-белыми – по одним и тем же причинам: аскетическая палитра обнажает структуру, убирая излишества. Поэтому когда древние китайцы писали пейзажи черной тушью, сложив в нее радугу, то у них получался не только портрет мироздания, но и схема его внутреннего устройства.

Если зима воспитывает чувство прекрасного, то холод обостряет переживание всего остального, начиная со времени: чем сильнее мороз, тем дольше тянется минута. Достигнув летального предела, искусство становится искусством выживания. Быт высоких широт придает каждой детали скудного обихода забытую нами красоту необходимого: костяные солнечные очки, надетый на себя водонепроницаемый каяк, мороженое из китового сала, средство от цинги в виде мяса живого тюленя.

Живя в окрестностях небытия и ощущая трепет от его близости, северные народы обычно молчаливы, сосредоточены и склонны к пьянству. Сегодня за полярным кругом обитают четыре миллиона человек, но, пожалуй, селиться там стоило лишь эскимосам. За пять тысяч лет они сумели полностью вписаться в среду, мы же ее переписываем, постепенно превращая в Пятницу.

Приспосабливая мир к себе, прогресс делает его сразу и больше, и меньше – как это случилось с Севером. За последние полвека полярная шапка сократилась вдвое: ушанка стала тибетейкой. Парниковый эффект сделает доступными сокровища потеплевшего Севера, где залегает четвертая часть всех запасов газа и нефти на нашей планете. Понятно, что, охваченные утилитарным зудом, мы рады принести ему в жертву другие арктические резервы – запасы пустоты, спрятанной под вечными льдами.

Чистый излишек пространства, как высокие потолки или тонкая рифма, – необязательная роскошь, придающая жилью достоинство, а стихам – оправдание.

– Когда мы думаем, – сказал мне философ, – мозг использует всего лишь несколько процентов своих возможностей. Остальное уходит просто на то, чтобы быть человеком.

Раньше мы лучше умели пользоваться Севером. Он был не дорогой, не рудником, не скважиной, а храмом, лишенным деловитого предназначения. Понимая это, сто лет назад люди рвались к полюсу лишь потому, что он был географическая абстракция, напрочь занесенная снегом.

Стыдясь мальчишества, я до сих пор с трудом удерживаю слёзы восторга, читая о приключениях полярников. В лучших из них воплотились черты того прекраснотушного идеализма, которые традиция с куда меньшими основаниями приписывает рыцарям, революционерам и паломникам: фантазия, самоотверженность, благочестие. Тогда, на рубеже еще тех веков, прекрасная и недостижимая Арктика была религией атеистов, и полюс слыл их Граалем.

С трудом пережив тоталитарный героизм предыдущего столетия, XXI век утратил вкус к романтическим подвигам. Пресытившись ими, он заменил единоборство с природой экстремальными видами спорта: в Нью-Йорке популярны кафе с бетонным утесом для скалолазания, а лед есть и в холодильнике.

Памяти космоса

Непонятно даже, чего мы так всполошились. А ведь в моем детстве космос был популярнее футбола – даже среди взрослых. Уже много лет спустя я сам видел улыбку на лицах суровых диссидентов, когда они вспоминали Гагарина.

– С него, – писали отрывные календари, – началась новая эра.

Но она быстро завершилась, когда выяснилось, что человеку там нечего делать. Мы не приспособлены для открытого пространства – нам нужно есть, пить и возвращаться обратно. Беспилотные устройства стоят дешевле, не требуют человеческих жертв, но и не приносят славы. Мы же стремились в космос, чтобы запахнуть эту целину под символы.

Чем только ни был космос: новым фронтом в холодной войне, зоной подвигов, нивой рекордов, полигоном державной мощи, дорогостоящим аттракционом, рекламной кампанией, наконец – шикарным отпуском. Чего мы не нашли в космосе, так это смысла.

Говорят, Армстронг больше всего боялся забыть исторические слова, которые он произнес, впервые ступив на чужую почву. Его легко понять: оставленный им след на Луне исчезнет позже Земли и вместе с Солнцем. Этим, однако, всё кончилось.

– Мы открыли Луну, – объясняют историки, – как викинги – Америку: преждевременно. Поэтому ни мы, ни они не знали, что делать с открытием.

Эта параллель даже точнее, чем кажется. Космос был Новым Светом, где разыгрывался карамболь уязвленной совести и подспудных страхов. В нашем больном воображении любые контакты с неземным разумом следовали земному сценарию: либо мы, либо они были индейцами. Хорошо зная, чем это кончится, мы всё равно рвались в космос.

В романе трезвого Лема вернувшийся со звезд герой думает, что полет того бы не стоил, даже если б “мы привезли обратно восьминогого слона, изъясняющегося чистой алгеброй”.

Наверное, мы подспудно ждали, что космос послужит новым импульсом теологической фантазии. Когда философия исчерпала двадцатипятивековые попытки найти душе партнера, за дело взялись ученые. Не в силах вынести молчания неба, мы мечтали вынудить его к диалогу. Непонятно, на что мы рассчитывали, что хотели сказать и что услышать, но ясно, что мы отправились в космос, надеясь выйти из себя. Беда в том, что мы не нашли там ничего такого, ради чего бы это стоило делать. Кое-кто из астронавтов, правда, открыл Бога, но на Земле, а не в небе.

Для меня космический век закончился фотографией Марса. Первая “звезда” на вечернем небе, он нам никогда не давал покоя. Живя на третьей планете, мы невольно приписали второй – свою молодость, а четвертой – свою старость. Эта фантастическая хронология побуждала ученых искать на Марсе вымирающих братьев по разуму.

Так, астроном Скиапарелли составил подробную карту планеты с несуществующими каналами. Маркони утверждал, что ему удалось поймать закодированный радиосигнал марсиан. Поверив ему, американское правительство объявило трехдневное радиомолчание, но Марс его так и не прервал.

Куда успешнее действовали писатели. Алексей Толстой даже устроил на Марсе пролетарскую революцию. В его “Аэлите” описано меню бедных марсиан: дурно пахнущее желе и опьяняющая жидкость с ароматом цветов. В таком обеде легко узнать студень с одеклоном или, вспомнив “Петушки” Венички Ерофеева, – “вымя с хересом”...

Но, увидев драгоценный снимок, я понял, что мы никогда не найдем на Марсе ни соратников, ни собутыльников, ни собеседников. Глядя на безжизненный, лишенный тайны и величия, попросту – скучный, хоть и инопланетный ландшафт, я впервые с тоской подумал: может, мы и правда – венец творения? И это значит, что нам не с кем разделить бремя ответственности за разум, что помощи ждать неоткуда, что Земля – наш Родос, и нам не остается ничего

другого, как прыгать – здесь, сейчас, всегда. И еще я решил, что нам повезло с планетой, могла быть хуже.

Примирившись с одиночеством, даже *NASA* прекратила поиски внеземной цивилизации. А без нее нам космос не нужен. Что еще не подразумевает конца космонавтики. Напротив, созрев, она только сейчас и входит в силу, принося нам каждый день новые сенсационные открытия, о которых газеты сообщают мелким шрифтом на задней странице между спортом и погодой. Поэтому даже тогда, когда мы открываем новые планеты, им дают имена второстепенных богинь. Одно дело – покоряющая всех Венера, другое – Седна, известная только эскимосам и феминисткам.

Памяти ночи

О том, что отключилось электричество, я узнал только тогда, когда испуганно пикнул компьютер с разрядившейся батареей. Осмотревшись, я понял, что кондиционер не работает, радио молчит, солнце садится. На Нью-Йорк опускался блэкаут. Живописный закат на моей стороне Гудзона не предвещал стоявшему на другом берегу Манхэттену ничего особенного. Только когда жаркие сумерки стали сгущаться в безлунную тьму, выяснился масштаб катаклизма. Наползая на город, темнота съедала его, как история: теряя небоскребы, остров пятился в прошлое – в небытие. Постепенно Нью-Йорк исчез, оставив вместо себя непрозрачные глыбы тьмы, о назначении которых местным было трудно вспомнить, а приезжим догадаться.

Когда, подавленный происходящим и смущенный навязанным бездельем, я вышел из дому, оказалось, что улицу заполнил онемевший народ. О присутствии толпы можно было узнать, лишь уткнувшись в спину соседа. В темноте обычно говорят шепотом, эта ночь навязала молчание.

Я впервые ощутил ее безмерную власть потому, что она явила себя там, где о ней уже забыли. На рыбалке, скажем, ночь тоже черна, но, живя у нее в гостях, другого и не ждешь. Темнота на природе – аттракцион, умышленное, вроде палатки, неудобство. Тут, однако, не мы выбрали ночь, а она нас.

Дождавшись своего часа, ночь поставила всех на место. Короткое замыкание сперва отстранило, а потом отменило цивилизацию. Без нее же, как быстро выяснилось, нам нечего делать, разве что лечь спать.

Зачем человек спит, ученые не знают, а я догадываюсь: чтобы не оставаться наедине с ночью. Ее величие исключает панибратство. Греки искали в Ночи источник мира, веря, что она первой родилась из Хаоса. Поэтому Гесиод называл ее не только сестрой, но и матерью Дня. (В нормальной, нечеловеческой, жизни свет ведь и правда меньше тьмы, да и встречается реже, что легко доказать, разделив площадь неба на число звезд.)

Чтоб не видеть ночи, мы спим с ней, зачиная сны. Начиняя ими наши души, ночь оправдывает себя – если ей, конечно, не мешают. Как всем сакральным, ночью нельзя пользоваться всуе. Ее тихие часы предназначены для высокого – стихов, молитв и тоталитарной власти. Поэтому жгли свечи поэты, вставали к заутрене монахи, и никогда не гасло окно в кабинетах Ленина, Сталина и Муссолини. Другим, чтобы понять ночь, надо переболеть бессонницей.

Мучаясь ею, я часто бодрствую в сокровенные часы – с трех до шести. По китайскому счету – это время инь, когда сон ткет ткань яви, ночь образует завязь дня и – добавляет статистика – чаще всего умирают люди. Не зря предутренние часы называют “глухой ночью”. В эту пору мир нас не слышит, а мы его и подавно. Но когда нас ничто не отвлекает от себя, нам труднее защититься – что и делает ночь столь опасной.

Страшась всего непонятного, прогресс нашел свой компромисс с ночью: он ее отменил, во всяком случае – там, где смог. Об этом знают все, кто подлетал в темноте к Нью-Йорку, в чьих офисных башнях никогда не гасят свет. Расходы на лишнее электричество оплачивает муниципалитет, рассчитывающий, что веселая слава города заставит раскошелиться его гостей.

Другой пример – Исландия. Согласно распространенному, но неправдоподобному суевию, разврат разворачивается ночью. Надеясь на это, позолоченная молодежь сделала своей зимней столицей приполярный Рейкьявик, где можно танцевать до утра, наступающего только летом.

Куда успешнее, однако, с ночью борются не праздники, а будни, открывшие коммерческие преимущества круглосуточного существования. Не исчерпав пространством колонизаторского зуда, мы распространили экспансию на время, заставив ночь на нас трудиться.

Я еще помню, как это началось, когда напротив моего дома открылся супермаркет с пуэрториканским акцентом *“Mañana”*. Помимо названия, его неоновая вывеска обещала, что магазин будет работать, как собиралась вся Америка, 24/7, то есть все-гда. На двери, однако, висел старомодный амбарный замок.

Сегодня такого не увидишь. Каждый пятый трудящийся американец работает в ночную смену. Все остальные этим пользуются – в этой стране никогда ничего не закрывается: магазины, прачечные, университетские библиотеки, кафе-мороженое.

Теперь уже трудно поверить, что так было не всегда и не всюду. Много лет назад, впервые приехав в Лондон, я с удивлением выяснил, что английский телевизор, в отличие от американского, знает, когда ему ложиться спать. Последняя программа шла до полпервого и называлась “Звёзды смотрят вниз”.

– Про гороскопы, – сказала жена.

– Битлы, – возразил я.

Спор разрешил астроном с указкой, объясняющий зрителям, что они смогут увидеть, если поднимут голову к ночному небу.

Памяти славы

Обладая смутным представлением о загробном мире, язычники приписывали славе ту же роль, что христиане – Иисусу. Она воскрешала из мертвых: покойники живы, пока о них помнят. Об этом, в частности, говорит Цицерон в опусе “Сон Сципиона”. Вот любопытный абзац из этого редкого образца древнеримской научной фантастики: “Люди, населяющие Землю, находятся одни в косом, другие в поперечном положении по отношению к вам, а третьи даже с противоположной стороны. Ожидать от них славы вы, конечно, не можете”.

Исправляя этот недочет географии, мы придумали спутники и интернет, сделав славу кругосветной и круглосуточной. Добившись такого, мы ее похоронили, предварительно раскулачив и поделив, чтобы каждому достались пятнадцать минут, обещанные Энди Уорхолом. Как показывает вскрытие, причиной смерти стала терминологическая недостаточность.

У греков для славы было слов не меньше, чем у эскимосов для снега. Первыми, как и сейчас, шли спортсмены, потом – герои, позднее – философы. Римляне предпочитали государственных мужей, Ренессанс – художников, романтики – поэтов.

Но раньше, как заметил Милан Кундера, слава подразумевала восхищение не только тех, кто знает тебя, но и тех, кого знаешь ты. Лишь та слава считалась подлинной, что соединяла достойных с равными – как дуэль. Шкловский называл это “гамбургским счетом”. Затворив двери, потные борцы в линиях трико выясняют, кто из них лучший. Изгнав не только публику, но и судей, вердикт выносят свои. В этом самый тонкий из соблазнов славы. Только те, кто хотел бы повторить и присвоить, способен оценить чистоту приемов, широту репертуара, его оригинальность и своевременность. Чужую музыку можно слушать, но лучше ее сыграть. Гамбургский счет вовсе не отменял обыкновенного. Но, принимая незаслуженные почести и заслуженные взятки, борцы участвовали в чужой игре, всегда помня о своей.

В узком кругу слава жжет сильнее, стоит больше, добывается труднее и теряется столь же быстро. Жалко только, что не везде она так наглядна, как на гамбургском ковре. Обычно слава копится годами в таинственной ноосфере, где, как уверял Вернадский, концентрируются испарения человеческого гения.

Не менее загадочен и механизм ее распределения. Славу нельзя ни дать, ни взять, только получить – по совокупности заслуг от никем не назначенных авгуров, чей приговор ты уважаешь не меньше их.

Мне рассказывали, как оценивали шутки знатные московские остряки. На их консилиуме смеялись реже, чем в морге. Поднятая бровь здесь считалась знаком одобрения, узнав о котором, автор уходил, уязвленный формой и осчастливленный содержанием комплимента.

Иногда это бесит, часто обижает и всегда раздражает. Что и понятно: мы добываем славу своим трудом, а получаем из чужих рук. Зато такая слава придает вес своему избраннику. Я бы сказал – удельный вес, увеличивая плотность достигнутого, он углубляет след и тянет ко дну.

Антитеза славы – не безвестность (она-то как раз может оказаться мудростью), а популярность, выдающая тщеславие за честолюбие. Поэтому не все известные люди – славные.

Если XX век разбавил славу, то XXI пустил на панель – с помощью компьютерного сутенера. Умея считать лучше, чем читать, интернет заменяет качество количеством, а славу – известностью. Став мерилom успеха, последняя замещает первую, не замечая разницы. Слава, как Суворов, брала умением, популярность, как саранча, – числом.

Рожденный революцией, интернет обещал демократию, но привел к тирании, причем – масс. Ублажая их, он создал конвейер тщеславия. Доступный и нечистый, как автомат с газировкой, интернет позволяет каждому выплеснуть себя на мировой экран.

Характерно, что в Сети часто практикуется та же извращенная форма авторского самолюбия, что и в привокзальных сортирах, – анонимный эксгибиционизм, парадоксально соеди-

ненный с острой жаждой признания. На стенах общественных уборных всегда пишут в надежде на читателя.

Желание прослыть любой ценой сводит с ума, ибо за ним стоит патологический страх потеряться в толпе себе подобных. Этот маниакальный, но ведь и оправданный ужас (заблудиться в метро проще, чем в лесу) порождает страсть к неутолимой публичности. Сильнее секса и ярче голода она требует, чтобы другие узнали о существовании твоего мнения, опуса, лица или, на худой конец, гениталий.

Памяти почерка

В московский музей классика я пришел, чтобы взглянуть на его рукописи. Купив билет, но не найдя парадного входа, я зашел в какой попало.

– Вам, собственно, кто нужен? – строго спросила конторщица.

– Толстой.

– Он всем нужен, – сурово сказала она, но все-таки отвела в зал, где под стеклом витрины вальяжно расположились корректурные гранки, сплошь исписанные мелким, но стройным почерком. Когда-то я работал метранпажем в старой, еще настоящей типографии, поэтому первым делом пожалел наборщиков. Садизм Толстого заключался в том, что он не исправлял ошибки, а заменял рукописной страницей печатную, как будто сам вид окоченевших строчек выводил его из себя.

Чтобы оправдать писателя, надо вспомнить, с какой одержимостью он объяснял человеческую жизнь. Автору, сажавшему четыре “что” в одно предложение, было мучительно трудно остановить поток уточнений и отдать в холодную печать еще теплую рукопись. Ведь она не черновик текста, а его исподнее.

Поэтому автографы великих рассказывают нам больше, чем их портреты. На письме статику образа заменяет динамика мысли, плюс, конечно, темперамент: Бетховен рвал пером бумагу, Бах обводил красным там, где про Бога.

Тайна почерка в его неповторимости, столь же бесспорной, как отпечаток пальца. Но если в последнем случае об уникальности рисунка позаботилась природа, то в первом – культура. Учась писать, мы становимся разными. Значит ли это, что безграмотные больше похожи друг на друга? И что, утратив почерк, мы вновь станем одинаковыми?

Подозреваю, что это возможно, ибо письмо, как походка, – индивидуальный навык, способный придать телесную форму бесплотной мысли. Если ее незримость напоминает о музыке, то почерк о балете: сольный танец пера по бумаге – под ту же, что поразительно, мелодию.

Меня пленяет магическая мощь этой пляски, и, даже сидя у компьютера, я не обхожусь без бумаги. Дойдя до смутного места, оставшись без глагола, застряв на длинной мысли, потерявшись в лабиринте абзаца, я хватаюсь за карандаш, чтобы поженить руку с головой. Ритм этой всегда поспешной (чтобы не задуматься) процедуры выводит из затруднения и вводит в транс надежней мухомора, избавляющего от контроля чистого разума. Писатель – что вертящийся дервиш.

Но почерк свой я при этом ненавижу еще с тех пор, как меня мучили пыточными орудиями письма: чернильница с лживым прозвищем непроливайка, вечно щипавшее тетрадь перо-уточка и зеркальная простыня промокашки, отражавшая мои незрелые промахи. Гордо считая содержание важнее формы, я писал, как хотел, оставляя каллиграфию маленьким людям и эпилептикам вроде Башмачкина и Мышкина.

Положение изменилось лишь тогда, когда я понял, что почерку приходит конец. Его смерть ускорила американская демократия, позволяющая ученикам держать перо не только в левой, но и в скрюченной, будто подагрой, руке. Устав мучиться, школа отдала письмо компьютеру, у которого всё получается ясно и просто, как у пулемета. Отучив считать в уме и писать рукой, компьютер напрашивается в рабы, но становится хозяином. Инвалиды письма, мы забываем о его потаенном смысле: сделать видимым союз души и тела. Почерк умеет не только говорить, но и проговариваться. Он знает о нас, может быть, меньше, чем обещают шарлатаны-графологи, но все-таки больше, чем мы смели надеяться.

Поняв это, Дальний Восток сделал каллиграфию матерью искусств и школой цивилизации. Открыв книгопечатание задолго до европейцев, Азия не торопилась пускать его в дело.

Японцы считали изящной только ту словесность, что нашла себе приют в летящих знаках, начерченных беглой кистью на присыпанной золотой пылью бумаге.

Позавидовав, я пошел учиться к нью-йоркскому сэнсэю, веря, что, не справившись с кириллицей, я смогу отыгаться на иероглифах. На первый год мне хватило двух: “са” и “ша”. Прочитанные вслух, они составляли мое имя. Переведенные с китайского, означали “сбалансированного человека”, каким я мечтал стать, научившись каллиграфии. Но до этого было далеко. Овладев семнадцатью видами штрихов, нужных для того, чтобы написать все пятьдесят тысяч знаков, я сосредоточился на размещении их в пространстве.

Хорошо написанный иероглиф должен быть плотным, как умело упакованный чемодан, элегантным, как скрипичный ключ, и крепким, как вещь, которую можно повесить на стенку. Многие так и делают. Энергия, запертая в нем, как в атоме, настолько ощутима, что я не удивился, когда в Америке иероглифы стали модной татуировкой.

Но главное все-таки в другом. Почерк учит невозможному: выражать внешним внутреннее. В одном несчастном фрагменте Уистен Оден, говоря о почерке, вспоминает экскременты. Если, отбросив брезгливость, развить эту параллель, мы и впрямь найдем общие свойства: естественность, безвольность и убедительность. Как помет, почерк оставляет безусловные следы, утверждающие наше присутствие в мире. Продукт физиологии мысли, он, как сны, и зависит, и не зависит от нас. Поэтому лишиться почерка – все равно что остаться без подсознания.

II. Кожа времени

Стоя на углу

С тех пор как мне распилили грудь, чтобы посмотреть, как всё еще бьется сердце, я заинтересовался ацтеками. В древности никто лучше их не разбирался в анатомии грудной клетки, которую они аккуратно вскрывали обсидиановым ножом, добираясь до сердца и вытаскивая его наружу. Остро ощущая хрупкость своего мира, ацтеки мужественно сражались с энтропией, вырывая сердца рабам, врагам, пленникам и кому подвернется.

Необходимость этой операции объяснялась властью календаря. Хирурги и астрономы, индейцы Мезоамерики фанатично подчинялись ходу времени и носили имя того дня, когда родились. Они твердо знали, что мироздание зависит от нас, а не только мы от него. Небо необходимо питать людьми, чтобы жизнь шла по кругу.

– Завидная способность, – сказал бы Кафка или Бродский, – смотреть на положение вещей с нечеловеческой точки зрения.

Ведь наше время не циклично, а линейно. Оно сквозь нас либо сыплется, как песок в часах, либо вытекает, как вода в клепсидре, и чем больше я старею, тем старательнее пытаюсь услышать эту капель. Надеюсь разобрать, что говорит проходящее по мне время, я хочу его подслушать и за ним подсмотреть.

В том числе и буквально. Для этого надо всего лишь замереть на перекрестке Бродвея с вечностью, то есть на 42-й стрит. Как известно, именно здесь начинается будущее. Так решили всем миром в канун третьего тысячелетия, которое признали наступившим именно в ту минуту, когда с крыши небоскреба на Таймс-сквер упал ритуальный шар. Застряв там, я притворился фонарным столбом и, выпав из бурного потока, принялся, как говорили мальчики у Достоевского, “наблюдать реализм жизни”.

– Лучше всего, – доложу вам, – смотреть на собак и женщин: на первых смотреть просто приятно, а на вторых еще и интересно.

Мужчины одеваются удобно и безалаберно – лишь бы в паху не жало. Женщины телеологичны, и их намерения выдают каблуки. Высокие – значит еще чего-то ждет, низкие – уже нашла или отчаялась. Балерин легко узнать по походке, им никакие шпильки не страшны, привыкли к пуантам. Одна из них (наша) сама сказала, правда, не мне, а телефону.

– Что балет, – прокричала она в трубку, не догадываясь, как и все русские за границей, что ее язык доступен не только собеседнику, – я тут еще и в сериале снялась, представляешь, восемь часов секса и насилия, а я – в главной роли!

Глядя на толпу снизу вверх, я заинтересовался черными ногами в золотых, не по погоде, босоножках. Поднимая глаза, дошел до золотой юбки, золотой же сумочки и, наконец, оглядел всю фигуру статного негра в белокуром парике. На него, естественно, никто не оглядывался – Бродвей.

О чем-то всё это должно говорить, вопрос в том, как услышать. Память подчиняет себе прошлое, выстраивая его в историю, которую мы рассказываем сами себе. С будущим не справляется никто. Но труднее всего узнать, услышать, разглядеть, ощупать, заметить, поймать и приколоть к бумаге настоящее. У всех на виду и как раз поэтому не всегда заметное, оно делает нас всех современниками и оставляет следы на коже, как татуировка.

Метафизика телефона

1

Я с детства страстно любил НФ, ибо мечтал быстрее вырасти и попасть в светлое будущее, которое мне обещали Никита Хрущев, Иван Ефремов и придурковатая сталинская фантастика, которую я читал за отсутствием любой другой. Ее авторы начинали с Тунгусского метеорита и кончали коммунизмом. Последний был таким же ослепительным, как первый. Помнится, что деньги должны были сохраниться только у академиков для приобретения предметов роскоши с евразийским подтекстом: ковров.

Поскольку фантастика называлась научной, я верил всему, что читал, и не мог дожидаться будущего, как, впрочем, и авторы вышеупомянутых опусов. Стремясь скоротать настоящее, выполняя пятилетку в четыре года, они, чтобы еще быстрее попасть в коммунизм, придумали незаменимое средство: анабиоз.

– С его помощью, – мечтал я, – можно было бы проспять всю школу, борьбу с империализмом и прочими отдельными недостатками.

Это был решительный ответ на вызов дворового марксизма: можно жить в будущем, а не страдать ради него.

Характерно, что анабиоз стал мощным сюжетным двигателем у выросшего на той же макулатуре китайского фантаста Лю Цысиня, пишущего сейчас лучшую со времен Лема и Стругацких фантастику. В его трилогии герои периодически погружаются в спячку, что позволяет им проследить историю мироздания от хунвейбинов до смерти Вселенной.

По сравнению с этим американское будущее выглядело скромнее, и часто полет фантазии исчерпывался летающими автомобилями. Они украшали обложки старых журналов, печатавших НФ еще тогда, когда ее не пускали во взрослую литературу. В небе машины выглядели так же, как на земле: непомерной длины, с крейсерскими фюзеляжами и волнистыми крыльями. Снизу за ними следили люди будущего: мужчины в шляпах и галстуках по пути на службу и дамы в юбках колоколом по дороге в магазин, чтобы приготовить обед кормильцу.

Надо признать, что отечественное будущее казалось более дерзким, чем американское, но ни то, ни другое не справилось с заявленной жанром задачей: предсказать явление главного виновника перемен. Никто не думал, что им окажется телефон.

2

Я держался, сколько мог, потому что видел, как мобильный телефон сводит с ума друзей и начальников. Один из них, получив в пользование казенный аппарат, нес его перед собой на вытянутой руке и менял ее, доставая сигареты из кармана. Оно и понятно. На заре своей жизни мобильный телефон был символом знати, вроде шпаги, и признаком власти, вроде ключа от служебного сортира. Мгновенная коммуникация подчеркивала статус незаменимости. Владелец такого телефона, как Джеймс Бонд, всегда обязан быть начеку, в строю и трезв.

Всё это мне категорически не нравилось. Даже оседлый телефон – машина отвратительная. Ты ей нужен больше, чем она тебе. Телефон всегда встречал невпопад, норовя застать тебя *in flagrante*, пусть и невинном. Карел Чапек, у которого я научился ненавидеть телефон, предупреждал, что тот молча сидит в засаде и поджидает, когда хозяин начнет менять лампочку, стоя на шаткой табуретке. Самое противное, что, когда ты, свалившись с нее, ползком

добираешься до аппарата и наконец снимаешь трубку, в ней раздаются короткие гудки: ты ему больше не нужен.

Теперь, конечно, еще хуже. Сегодня телефон с нами разговаривает лишь о том, что интересно ему. В наших краях он ласковым голосом с певучим индийским акцентом уговещивает купить сомнительные лекарства и тут же застраховать жизнь.

Не удивительно, что я крепился дольше всех и не заводил мобильного телефона, из-за чего одни считали меня пещерным человеком, другие – последним могиканином, третьи – анахоретом, четвертые перестали со мной говорить, во всяком случае по телефону.

Не выдержав тотальной атаки, я наконец купил айфон, чтобы узнать, почему другие два миллиарда землян не могут без него жить. До тех пор я не видел, если не считать бумажника, чтобы предмет, помещающийся в задний карман, так решительно менял бы привычки, характер и природу своего владельца.

3

Прежде всего мобильник, как конь монголам, навязывает кочевой образ жизни. Если ошеломительный прогресс коммуникаций оторвал нас от рабочего места, соединив его с домашним адресом, то айфон упразднил и эту привязанность, выставив всех на двор.

Телефону безразлична среда его и нашего обитания. В этом изотропном пространстве исчезают базовые различия – внутри и снаружи, здесь и везде, под небом или крышей. Только вчера мы собирали с друзьями грибы в глухом лесу. При этом каждый периодически вел по мобильнику рабочие разговоры, не признаваясь, что ради них отрывается от сыроежек. Посмотрев на это зрелище со стороны, я подумал, что еще лет двадцать назад нас бы приняли за сумасшедших: на опушке взрослые дядьки говорят в трубку без провода, притворяясь, что вершат важные дела.

Расправившись с пространством, айфон взялся за время. Оно и без того постоянно преследует. Когда-то новости распространялись со скоростью лошадей и парусников. Поэтому иногда войны кончались до того, как весть о мире доходила до противников. Именно это произошло в Америке, когда генерал Эндрю Джексон победил англичан *после* перемирия, благодаря чему стал президентом и украсил двадцатидолларовую купюру.

Постепенно мы научились жить в ритме газет, которые делились на утренние и вечерние. Уже на моих глазах *CNN* завела круглосуточное ТВ. Над ним поначалу смеялись: мол, поскольку новостей не хватит, будут показывать, как дядя Билл красит новый забор. Но мы быстро привыкли к тому, что между произошедшим и сообщенным нет спасительного для нервов зазора. Из пассивных “читателей газет, глотателей пустот” мы превратились в свидетелей, на глазах которых разворачивается драма, чаще всего – трагическая, ибо таково свойство новостей, предпочитающих всем жанрам “чернуху”.

И всё же для того, чтобы включиться в поток последних известий, надо было включить телевизор. Без него мы были в безопасности. После налета 11 сентября по Нью-Йорку ходила байка про развратника, который, вместо того чтобы сидеть в офисе сгоревшей башни, гулял на пикнике с любовницей и заявился домой как ни в чем не бывало. Теперь такое невозможно, потому что “сейчас” стало мгновенным и повсеместным. Телефон, скуля и позвякивая, держит нас в курсе дел – важных, неважных, забавных и ненужных. С ним мы живем в сугубо настоящем времени, но вряд ли так, как хотят буддисты.

– Не в силах управлять прошедшим, – уверяют они, – и не зная будущего, мы распоряжаемся только настоящим.

Похоже, однако, что оно распоряжается нами – под присмотром неизбежного мобильного, и всем это нравится!

Универсальная примета нашего странного времени – глаза, опущенные долу. Впрочем, те, кто идут позади и на нас натыкаются, тоже смотрят вниз – на свои телефоны. От них не отрываются в кино и постели, за рулем и ресторанным столиком, в кругу друзей и наедине с любимой, даже (сам видел) в венецианской гондоле. Что же мы надеемся увидеть на голубых экранчиках такого важного, ради чего готовы отключиться от окружающего, даже тогда, когда это чревато аварией, скандалом или чрезмерной, как в эпизоде с Венецией, глупостью?

4

Пожалуй, из всех перемен, которые мобильный телефон внес в жизнь, наиболее таинственная связана не с пространством или временем, а с личностью, которую он взял напрокат и пустил в распыл, распространив на сетевую вселенную. Презрев прагматическую пользу, телефон давно перерос свое утилитарное прошлое. Из заурядного средства связи он превратился в экзистенциальное орудие, утверждающее и умножающее наше присутствие в этом мире. Включая телефон, мы каждый раз убеждаемся в собственном существовании и делимся им со всеми. Телефон, как пульс, посылает сигналы, говорящие о том, что мы живы, что мы есть – здесь и сейчас. Зуд общения вызван бескорыстной и непреодолимой жаждой публичности, за которой стоит подспудный страх затеряться в толпе себе подобных, с телефончиками. Я бы назвал этот невроз комплексом Бобчинского. Гоголь, как это с ним бывало, обо всём написал раньше других: *“Я прошу вас покорнейше, когда поедете в Петербург, скажите всем там вельможам разным, сенаторам и адмиралам разным, что вот, ваше сиятельство или превосходительство, живет в таком-то городе Петр Иванович Бобчинский”*.

Виртуальный секс

1

Хью Хефнер умер на пороге новой сексуальной революции, обещающей перерастить в революцию антропологическую.

Но сперва о “Плейбое”. Между его рождением и смертью прошла эпоха, в которую уложилась целая жизнь – моя. Ведь мы с ним появились на свет в одном и том же 1953 году. Но впервые я увидел журнал лишь в юности, когда знакомые цирковые артисты привезли один экземпляр в клетке с тигром. Правильно рассчитав, что туда даже советские таможенники не сунутся, циркачи спрятали за решеткой самое ценное – “Архипелаг ГУЛАГ” и номер “Плейбоя”. Пол и политика, секс и правда, Александр Исаевич и обнаженные красавицы – в сюрреалистической реальности позднего СССР всё это умудрялось рифмоваться уже потому, что было под запретом.

Странно, но фривольный “Плейбой” напоминал чопорный журнал “Америка”: красиво, безжизненно, глуповато. Голые женщины походили на манекены. Анилиновый глянец скрывал их наготу под прозрачным, но неприступным покровом целомудрия.

– Чтобы вернуть секс в стриптиз, – писал по схожему поводу Ролан Барт, – надо устранить “алиби сцены”. Наряжаясь в пух и перья, порнография так успешно притворяется театром, что убивает эротический эффект. Поэтому необходимо заменить профессионалов дилетантами, которые вернут сексу спонтанность, непредсказуемость и безыскусность частного опыта.

Я в этом убедился, когда в Нью-Йорк привезли грандиозную – на пять этажей – выставку “Остальгия”, представлявшую искусство той территории, которая раньше называлась СССР, а теперь как придется. Была там и стена социалистического секса, составленная из рисунков малолетнего Евгения Козлова. Способный ленинградский подросток рисовал то, что занимало его больше всего: женщин. В распаленном мальчишеском воображении они задирали юбки, обнажали груди и комментировали происходящее. Интереснее всего в этом бедном разврате были декорации – скромный, но уютный быт шестидесятых: обои в цветочек, канцелярские стулья, пионерская койка, веселенькие занавески. За окном – дождь, птицы, троллейбусы. Да и женщины в этих порнокомиксах не экзотические красавицы из гламурного “Плейбоя”, а свои – одноклассницы в тренировочных штанах, строгие учительницы, снявшие панталоны, но не очки, библиотечка, медсестра, продавщицы, соседки. Трогательная смесь школьного реализма с не слишком причудливой фантазией. Полудетская утопия, от которой щемит сердце, как в “Амаркорде”.

Этот пример диктует универсальное правило. Секс, как короля, играет свита: контекст, окружающая среда и ситуация.

– Взрослым мужчинам, – говорил Хичкок, – любить помогает фетишизм.

Сам он об этом снял “Головокружение”, фильм со столь неправдоподобным сюжетом, что оправдать его может только подпольный фетишизм: герой любит не героиню, а ее голос, наряд и прическу.

Но “Плейбой”, перевернув ситуацию, брал другим. Мелькавшие на его страницах обнаженные тела, шокировавшие и возбуждавшие предыдущее поколение, со временем стали тем, чем они, в сущности, всегда были – банальностью. В эпоху интернета, когда голые без спросу лезут на монитор, нагота фатально утрачивает остроту. Между тем именно она придавала журналу блеск, который отнюдь не исчерпывался глянцевыми разворотами. Журнальную славу “Плейбою” приносило то, что печаталось по соседству: искренние интервью (например, с пре-

зидентом Картером) и первоклассная проза – Набокова, Апдайк, Воннегута. Рядом с нагими красавицами даже вовсе не связанное с ними слово приобретало дополнительный смысл.

Попав в атмосферу запрета, литература будоражит читателей, но только до тех пор, пока канат натянут под куполом цирка, а не лежит на полу. Свобода лишает словесность многих привилегий, пусть и не ею заработанных. Поэтому инфляция плоти убивает эротические журналы, которые не переживут следующий этап в вечном искусстве соблазна.

2

Говорят, что слово “порнография” придумали библиотекари. Возможно, для того, чтобы отличить допустимое от непристойного. Когда-то к последним относились даже романы Ричардсона, хотя, на наш взгляд, неприличное там – только скука. Чем старше становился XX век, тем меньше в нем оставалось запрещенного, пока в новом столетии интернет не лишил запреты смысла. Секс остался без тайны. Как это часто бывает, вседозволенность стремительно истощает тему. Оно и понятно: *этот* сюжет оказался короче многих других.

Однажды, в бравые девяностые, я подвизался писать колонки в тот же “Плейбой”, но на русском языке и почве. На третьей колонке я понял, что иссяк, к пятой – перешел на любовно-обильных обезьян бонобо, шестую посвятил старинной японской прозе, правда, женской. Но тут мне повезло: редактора выгнали, издателя тоже, контракт не возобновили, и моя карьера литературного плейбоя быстро завершилась. Я о ней никогда не жалел. Тело у нас молчаливое, и толком говорить на его языке никто не умеет, что и доказывают некогда считавшиеся дерзкими опусы Лимонова.

Встретившись с невиданным тиражом интернета, эрос заскучал от монотонности, но нашел выход в принципиально новом открытии, которое радикально меняет привычное распределение ролей. В порнографическом акте главное не то, что происходит по обе стороны экрана, а сам экран. Отделяя участников от зрителя, он ограничивает секс вуайеризмом. Чтобы сделать следующий шаг, надо убрать экран и превратить соглядатая в участника. Вот этим и занимается виртуальная реальность.

Ее коммерческий потенциал огромен: уже через несколько лет рынок таких услуг обещает превысить миллиард долларов. Первые эксперименты на порнониве дали потрясающие результаты. Только за один, правда, рождественский день, когда труднее всего перенести одиночество, 900 000 человек решилось испытать на себе новый аттракцион. Чтобы создать эффект соучастия, каждую сцену снимают со всех сторон. Так, фирма “Камасутра VR” использует 142 камеры. В погоне за тотальным опытом виртуальный секс включает обоняние, тактильные и даже вкусовые ощущения. Более того, вскоре вашему партнеру смогут придать любой облик – от Мадонны до мадонны, от Джеймса Бонда до питекантропа.

Впрочем, не стоит вдаваться в технику нового брака. (О старой лучше всех написал Довлатов: книга о сексе открывалась “введением”.) Интереснее другой вопрос – зачем?

На первый взгляд, секс с машиной живо напоминает тот, которым занимался Калигула в Древнем Риме, Берия – в сталинской Москве, и Вайнштейн – в современном Нью-Йорке: вторую половину не спрашивают. Но секс-машине лучше – ей все равно. Она безотказна, красива и, учитывая перспективы искусственного интеллекта, даже умна. Примерно таким видели идеал семейной жизни в просвещенных Афинах: брак – для деторождения, гетеры – для удовольствия, в том числе от беседы. Поэтому легко представить, что, став общедоступным, виртуальный секс окажется повсеместным и незаменимым. И с этого момента сексуальная революция, как уже было сказано, сменится антропологической.

Виртуальный секс позволит развести мужчин и женщин по отдельным камерам и убрать похоть из их отношений. В сущности, об этом всегда мечтала церковь, считавшая celibat подвигом, чем она и отличалась от восточных религий, видевших в сексе динамо космической

энергии. По-китайски формула человека “М плюс Ж”, на Западе – “М минус Ж” и уж тем более “Ж минус М”.

Но если секс окажется личным, а не парным делом, то любовь, как мечтал Платон и хотели отцы церкви, станет неотличима от дружбы, особенно если детей заводить в пробирках.

И это значит, что своей очередной безумной выходкой прогресс задает сакраментальные вопросы, мучившие еще тургеневских девушек: есть ли любовь без секса, есть ли секс без любви и что с нами будет, если виртуальная реальность окончательно разведет одно с другим.

Владеть или пользоваться

1

Зная, что дождь неизбежен, в Англии не выходят из дома без зонтика. Другим сложнее, и постоянная лотерея заканчивается проигрышем: дождь идет только тогда, когда мы решили, что его точно не будет. В Нью-Йорке закон метеоподлости ловко использует уличная торговля. Стоит небу нахмуриться, как из-под земли возникают торговцы зонтиками по пять долларов, но это дорого, потому что покупки редко хватает и на три квартала. В Китае вышли из положения иначе. Там сдают зонтики напрокат – 15 центов, и можно вернуть в любой киоск в радиусе ста метров от того места, где перестал идти дождь.

– Больше, – говорит изобретатель, – никому и никогда не придется покупать зонтик, а главное – мучиться, решая, брать ли его с собой.

То же самое с баскетбольными мячами. Возле корта с кольцом – автомат, где за те же 15 центов выдают мяч на час. Каждый, кто возил тяжелый и неудобный мяч в метро, оценит удобство. Это, разумеется, относится и к велосипеду. Взять его, где понадобится, и отдать, где придется, – удобство, уже привычное жителям всех больших городов.

Постиндустриальная идея делиться переносит нас к первобытному коммунизму, когда, как Энгельс уверял Маркса, люди обходились без собственности вовсе. Я, впрочем, в поисках примера спускаюсь на ступеньку ниже (хотя не все со мной согласятся) и учусь у своих котов.

– Они, – не устаю я восторженно повторять, – всем пользуются и ничем не владеют.

– Как и все мы, – одобрил приятель-буддист, – раз с собой не возьмешь, то всё напрокат.

– Но мы, – говорю я, вспоминая, что наши кошки сделали с диваном, – хотя бы употребляем вещи по назначению.

– Ты в этом уверен? – спросил он, и я не нашел что ответить.

2

Из того, что сдается напрокат, самое интересное – квартира. Сервис, который по-русски называется красивым, напоминающим заклинание старика Хоттабыча словом “эйрбиэнби”. С тех пор как это стало возможным, для меня чужое жилье – наиболее экзотическая часть путешествия.

За границей попасть в гости всегда интересно и обычно трудно, особенно в Японии. Живут там тесно, и этого стесняются. Тем больше я благодарен моей переводчице Казуми, которая пригласила меня в дом родителей, расположенный между Киото и Осакой. За три проведенных там дня я узнал о Японии больше, чем за всю предыдущую жизнь, изрядную и нарядную часть которой я посвятил изучению любимого архипелага. С утра, когда с оснащенного электроникой унитаза открывался вид на горы в дымке, до вечера, когда в той же комнате я парился в ванне о-фуру, японский быт входил в меня незаметно и навсегда. Чужое никогда не перестанет им быть, но, примерив на себе постороннее, ненадолго чувствуешь себя хоть и переодетым, но туземцем. Первый раз нацепив кимоно, я кичливо выпрямился и дерзко зашагал, придерживая отсутствующий клинок, как самурай или белый офицер в советских фильмах. Зато жена в кимоно семенила, кланяясь.

В гостях, однако, мы видим лишь парадную сторону чужой жизни. Другое дело, когда нас пускают в жилье без хозяев. Каждый в такой ситуации играет в Холмса и занимается дедукцией. Знатоки бросаются к книжным полкам, простаки – к фотографиям, я – на кухню. Если Дерсу

Узала узнавал характер зверя по следам, то я могу описать владельца по его припасам, как белку. Одно дело, если на полке стоит морская соль, гималайская и кошерная, другое – если она в нераспечатанном пакете, сахар окаменел от не востребоваемости, а остального нет вообще.

Однажды в Берлине мы снимали квартиру молодого человека, который жил, судя по фотографиям, в компании других столь же симпатичных мужчин. На стене висели медали за успехи в снайперской стрельбе, в прихожей стояли беговые лыжи, в серванте – декоративные пивные кружки, спальню украшал флаг Германии. Сложив, следуя за Конан Дойлом, приметы, я описал себе спортивного патриота нетрадиционной сексуальной ориентации. Пузырь моего воображения лопнул, когда за ключами пришла хозяйская жена – белокурая беременная девица.

Главное, что вместе с квартирой арендуешь местный обиход: ходишь на базар, а не в ресторан, завтракаешь купленным, а не заказанным, сам моешь посуду, стелешь постель и украшаешь комнату цветами, оставляя их в наследство следующему жильцу вместе с недопITYм и недоеденным в холодильнике.

3

Великий успех проекта “Жизнь взаимы” показывает, как размывается сама концепция собственности. Раньше она описывала своего владельца: мы – то, чем владеем. Нажитое (или добытое) добро свидетельствовало об успехе и служило его критерием.

Искусство чтения вещей – память о Средневековье, когда шелка и меха вместе с изощренной геральдикой определяли статус и меру дозволенного. Иерархия строилась от обратного: чем дороже, тем бесполезнее. Шапка Мономаха нужна не для того, чтобы уши не мерзли. В феодальной Европе уровень потребления бесценных тогда пряностей был раз в десять выше нашего. Поэтому богатая средневековая кухня напоминала индийскую и не имела ничего общего с сегодняшней.

В уцененной версии эта традиция дожила до моей молодости, когда знаками отличия были такие причудливые предметы, как плащ-болонья. У себя на родине он считался разовым, у нас носился три сезона, для чего приходилось периодически подклеивать пластмассу изнутри синей изоляционной лентой. Помните?

*Мои друзья – хоть не в болонии,
Зато не тащат из семьи,
А гадость пьют – из экономии:
Хоть поутру – да на свои!*

Тогда Высоцкого нельзя было перевести на иностранный язык, теперь – и на родной.

Изменились времена и вещи, но не природа престижного владения. До сих пор власть имущие хвалятся “Ролексами” и “Брегетами”, не боясь Навального. Соблазн бессмысленного накопления ведет происхождение от дефицита. Герой Джека Лондона, чуть не погибнув от голода, прячет хлеб под матрац, боясь, что опять придет черный день. С тем же расчетом мы покупали книги. Не только и не столько для чтения, сколько для того, чтобы были, чтобы грели, чтобы как у других, и на всякий случай.

Оглядывая свою библиотеку, зачатую родителями в послевоенной Рязани, я нередко дивлюсь их неразборчивости, но всё еще не решаюсь расстаться с лишним. А ведь книги сегодня стали не роскошью, а бременем. Занимая чужое место, они выживают нас из дома, чтобы лежать грубым и мертвым грузом. Ведь всё, что надо или хочется прочесть, витает в “облаках” и ждет, когда нам понадобится.

Другой пример – машина. Автомобиль, когда-то представлявший личность владельца лучше, чем его портрет, диплом или банковский счет, теперь всё чаще выглядит обузой, портящей воздух и тратящей деньги. Неудивительно, что в Америке появилось первое поколение, не умеющее водить машину и не стесняющееся в этом признаться.

Очередной и неожиданный виток прогресса сделал вещи общедоступными и кратковременными. Вот мы и перестали за них цепляться. Ведь они так часто меняются, что не стоит к ним привязываться. Их легко заменить, забыть, выбросить или не покупать вовсе. Расчищая затоваренную жизнь, мы определяем, чем стоит владеть, а чем только пользоваться.

– Этот вопрос, – рассказывала мне знаток Израиля Рина Заславская, – остро стоял в первых киббуцах с их приматом обобществленной собственности над частной. В результате горячих, как это водится у евреев, споров был достигнут консенсус. Распад коллектива начинается с того, что у члена киббуца появляется собственный чайник.

Товар лицом

1

Когда стоимость гиганта интернет-торговли “Амазон” превысила триллион долларов, забеспокоились даже те, кто не знает, сколько нолей надо ставить после единицы. Его основатель и владелец Джефф Безос – самый богатый человек в мире. Он обошел двух других призеров – Билла Гейтса и Уоррена Баффита. Теперь во всей обозримой истории (то есть не считая Крёза) богаче Безоса был только Джон Рокфеллер, состояние которого равнялось двум процентам всей американской экономики.

Безумный успех “Амазона” нуждается не только в объяснении, но и в оправдании, ибо он изменил чуть ли не самый древний фундамент человеческого сообщества – торговлю.

Обмен товарами – язык понятный всем даже тогда, когда другого не было вовсе. Так, с дикарями велась немая торговля. Причालившие к берегу купцы выкладывали ножи, бисер и ткани, взамен которых им оставляли снедь и другие припасы.

Как бы ни изменился мир с тех пор, очевидным оставался принцип: товар лицом. Интернет вмешался в институт торговли, сделав его виртуальным. Мы тут ничего не можем потрогать, примерить и перелистать. Место осязания заняло зрение. Переворот, достойный гения поп-арта Энди Уорхола, который писал не суп “Кэмпбелл”, а банку с супом “Кэмпбелл”. Вот и мы, собравшись за покупками, прицениваемся не к вещи, а к ее изображению: покупаем кота в мешке, на котором нарисован кот.

Неполноценность такого обмена компенсируют народные массы, которые уже обзавелись, разочаровались или восхитились тем, что нам предстоит купить. Другими словами, мы покупаем, подчиняясь чужому и коллективному мнению. И это значит, что демократия вмешалась в торговлю, обставив каждую покупку собственным ритуалом.

Когда мне понадобилась настоящая, а не электрическая мясорубка взамен той неподъемной, харьковского завода, что я во хмелю подарил друзьям, категорически отказавшимся отдать подарок, я, естественно, обратился к “Амазону”. Отвергнув новинки кухонной техники, способные измельчить всё в труху и выжать из фарша последние соки, угробив в результате котлеты, я набрел на старинные, почти антикварные ручные мясорубки и познакомился с теми, кто ими пользуются. Это были дикие луддиты, умеющие начинять сосиски и готовить паштет из трижды прокрученной печенки с коньяком и сливками. Короче говоря, мой народ. Посоветовавшись и подружившись, я выбрал агрегат, который почтальон внес согнувшись, и наконец приготовил точно такие макароны по-флотски, какие подавали в пионерском лагере.

Но эта история со счастливым концом. Чаще всё кончается хламом. Интернет-торговля подкупает удобством и быстротой – купить проще, чем думать, прицениваться, торговаться. Бац – и вещь твоя. Чересчур доступная и от того малоценная, она обошлась без посредника, соскочив (материализовавшись) с экрана компьютера.

2

Меня, что естественно, мучают книги. Раньше каждая была штучным товаром, теперь я их покупаю чуть ли не на вес. Кстати, именно с книжной торговли и началась империя “Амазона”. Превратив интеллектуальный товар в копеечный, она уничтожила конкурентов. Книжных магазинов почти не осталось. А ведь лет десять назад на моем берегу Гудзона – от статуи Свободы до моста Джорджа Вашингтона – их было целых три. И в каждом у меня был любимый

продавец. Не студент, томющийся от скуки в летние каникулы, а немолодой бородач в очках, знающий, где стоит каждая книга, зачем она нужна и какой мне не хватает.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.